



КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ.

Höfer, Dr. Paul, die Bedeutung der Philosophie für das Leben nach Plato dargestellt. Göttingen, 1870. Въ этомъ сочиненіи излагается мысль Платона о нераздѣльномъ единствѣ познанія и дѣятельности, при которомъ извѣстная степень одного условливаетъ собою соотвѣтствующую степень другаго. Для Платона мудрость есть какъ теоретическое, такъ и практическое усвоеніе идеальнаго. Мысль о несоразмѣрности между познаниємъ и дѣятельностію до такой степени чужда была Платону, замѣчаетъ авторъ, что онъ не имѣлъ въ виду даже возможности такой несоразмѣрности. Дѣйствительно, Платонъ понималъ мудрость какъ теоретическое и вмѣстѣ практическое стремленіе къ самоусовершенію. Но въ этомъ взглядѣ на философію, кромѣ направленія свойственнаго духу Платона, выразилась общая характеристическая черта греческой національности. Въ греческихъ философскихъ школахъ, какъ напр. въ пифагорской, цинической, киринейской, стоической, эпикурейской теорію не раздѣляли отъ практики. Каждая изъ этихъ школъ, являясь представительницею извѣстнаго образа мыслей не ограничивается однако теоретическою обработкою своего міровоззрѣнія, но главнымъ образомъ стремится утвердить его на практикѣ, провести въ самую жизнь, такъ что каждая школа осуществляетъ особый родъ жизни, вырабатываетъ оригинальный типъ характера. Мало того: практическое направленіе философіи въ нѣкоторыхъ школахъ (цинической,

эпикурейской) является до такой степени преобладающимъ, что знаніе цѣлили только, какъ средство убѣжденія въ правильности образа жизни признаннаго наилучшимъ, а иные (циники) совершенно отвергали, какъ нѣчто бесполезное для жизни и даже препятствующее достиженію возможнаго совершенства. Такъ, въ пифагорейской школѣ имѣлось въ виду главнымъ образомъ нравственное воспитаніе характера. Сообразно съ этою цѣлью, принимая новое лице въ свою общину. Пифагоръ прежде всего заботился о томъ, чтобы посредствомъ внимательнаго наблюденія узнать, насколько вновь поступавшій по своимъ способностямъ и склонностямъ могъ соотвѣтствовать требованіямъ, которыя онъ поставилъ для общежитія своихъ учениковъ. При этомъ въ особенности имѣлось въ виду воспитать въ ученикахъ такія качества, какъ воздержаніе, самообладаніе, повиновеніе старшимъ. И только тѣ, которые выдерживали довольно продолжительное испытаніе, удостоивались заѣмъ принятія въ число ближайшихъ учениковъ Пифагора; эти послѣдніе и составляли собственно общину пифагорейскую. Если такимъ образомъ для поступленія въ общину пифагорейскую требовалось выдержать предварительный курсъ обученія и воспитанія, то это объясняется тѣмъ, что не одинъ только интересъ знанія, но и единство образа жизни и настроенія связывало эту общину. Основная идея пифагорейскаго воспитанія состояла въ образованіи строгаго нравственнаго мышленія въ духѣ національнаго образа представленій, отразившагося въ мудрыхъ изреченіяхъ и пословицахъ. Нравственное воспитаніе здѣсь господствуетъ надъ научнымъ, практическая философія предшествуетъ теоретической. И это нравственное воспитаніе было проникнуто религіознымъ характеромъ. Пифагоръ, говоритъ одинъ писатель, создалъ школу благочестія и нравственной строгости, умѣренности, мужества, порядка, повиновенія власти и закону дружественной вѣрности и всѣхъ добродѣтелей, принадлежащихъ сущности греческаго духа (Geschichte der Pädagogik, Karl

Schmidts 213). Въ послѣдствіи времени, въ философскихъ школахъ, явившихся послѣ Сократа, господствуетъ тоже единство мысли и жизни, и кромѣ того такое нераздѣльное единство теоретическихъ понятій съ практическимъ осуществленіемъ ихъ въ жизни возведено было въ принципъ философіи. По примѣру Сократа, эпикурейская, стоическая, скептическая и др. школы ограничиваютъ свою философскую дѣятельность рѣшеніемъ вопросовъ, непосредственно относящихся къ жизни, съ тѣмъ однако различіемъ, что у Сократа теоретическій интересъ мысли гармонически соединялся съ практически жизненными стремленіями его духа, тогда какъ въ упомянутыхъ школахъ практическое направленіе замѣтно беретъ перевѣсъ надъ теоретическимъ интересомъ мысли и познанія. Философія въ этихъ школахъ является не болѣе, какъ только средствомъ къ достиженію счастья, къ созданію возможно лучшаго образа жизни. Не столько интересъ знанія, сколько потребность практически годныхъ убѣжденій—вотъ мотивы философской дѣятельности этихъ школъ. Заботливость о приобрѣтеніи знаній и выработкѣ теоретическихъ понятій управлялась необходимою утвердить на прочныхъ основаніяхъ и защитить принятое воззрѣніе о задачѣ жизни и способахъ къ достиженію ея. Такое направленіе философской дѣятельности въ Греціи, развившееся въ особенности во время упадка ея общественной жизни и политическаго значенія, объясняется тѣмъ, что философская школа для образованнаго класса въ это время служила нѣкоторымъ образомъ замѣною прежней общественной и политической жизни: только въ небольшихъ кружкахъ, связанныхъ интересами философіи, гражданинъ могъ находить для себя средства къ развитію и возможность примѣненія тѣхъ добродѣтелей, для которыхъ въ прежнія времена такъ много разностороннихъ побужденій представлялось въ сферѣ политической жизни.

Какъ же примирить съ такимъ по преимуществу практическимъ направленіемъ въ философскихъ школахъ позднѣйшаго вре-

мени Греціи го обстоятельство, что, какъ многіе справедливо утверждаютъ, въ это же время получила свое начало схоластика, относительно которой сдѣлалось уже привычнымъ представленіемъ, что она, чуждаясь жизни, ограничивалась всегда чисто формальнымъ безплоднымъ для науки и жизни упражненіемъ умственныхъ силъ? Сущность схоластики, какъ извѣстно, состояла, главнымъ образомъ, въ діалектическомъ разборѣ понятій, усвоенныхъ по преданію частью изъ греческой философіи, по главнымъ образомъ изъ христіанскаго вѣроученія. Діалектическое искусство дѣйствительно было развито и практиковалось греческими философами; но первоначально въ основѣ этого искусства заключались побужденія чисто практическаго характера. Первыми діалектиками были софисты, которые, въ виду практическихъ нуждъ общественной жизни, обучали юношество искусному употребленію мысли и слова. Затѣмъ Сократъ, Платонъ и Аристотель постепенно выяснили логическія условія и нормы мышленія и такимъ образомъ діалектическое искусство подкрѣпили теоретическими основаніями; вмѣстѣ съ тѣмъ діалектическое искусство пріобрѣтаетъ научное значеніе, является орудіемъ для образованія философскихъ понятій, независимо отъ непосредственныхъ практическихъ тенденцій. Однако и послѣ этого діалектика не выходила изъ круга тѣхъ представленій, служившихъ для нея матеріаломъ, которыя болѣе или менѣе были въ общемъ употребленіи и заимствовались изъ области мнѣній: ибо сама по себѣ діалектика не могла руководить къ пріобрѣтенію новыхъ знаній, будучи только лишь средствомъ къ логической обработкѣ готоваго матеріала. Понятно, что при этомъ весь научный интересъ состоялъ не въ изысканіи и расширеніи знаній, а въ самомъ процессѣ умственной дѣятельности, занятой образованіемъ и развитіемъ понятій. И дѣйствительно, такая болѣе или менѣе формальная умственная дѣятельность въ такой степени увлекала многихъ философовъ, что въ ней видѣли нѣчто божественное и въ развитіи ея полагали выс-

шую цѣль жизни. Эта умственная отрѣшенность отъ насущной дѣйствительности, сосредоточенность въ чисто идеальной сферѣ мышленія въ особенности рѣзко выдается въ философіи Платона. Энергія умственного сознанія для него есть цѣль, въ которой должны сходиться всѣ человѣческія стремленія, такъ что хотя дѣйствительно Платонъ требуетъ единства, гармоніи между мыслию и дѣломъ, но можно также утверждать, что для него лично самое важное и высочайшее дѣло заключается въ томъ, чтобы мыслить. Въ этомъ случаѣ нельзя согласиться съ авторомъ означеннаго выше сочиненія, будто Платонъ не имѣлъ даже въ виду возможности разполагая между мыслию и дѣломъ. Въ Протагорѣ онъ изслѣдуетъ эту возможность, но отрицаетъ ее, доказывая, что знаніе (т. е. мысль) принимаетъ необходимое участіе во всякомъ добродѣтельномъ дѣйствіи и что только мысль сообщаетъ достоинство дѣйствію. Аристотель приписываетъ Сократу, но не Платону непосредственное убѣжденіе о необходимомъ единствѣ мысли и дѣйствія. Что касается личнаго расположенія философа, то въ этомъ отношеніи авторъ не вполне правъ, оспаривая то положеніе, выраженное Целлеромъ, что само по себѣ философствованіе представлялось Платону прекраснѣйшею и наиболѣе увлекающею цѣлью, какъ это видно уже изъ желанія, высказаннаго имъ, чтобы философу дозволялось въ старости, послѣ того какъ онъ исполнялъ практическую свою обязанность, предаться своей сильнѣйшей склонности т. е. къ философствованію. Несмотря на то, неоспорима основная мысль автора, что по Платону философія какъ высочайшая полнота жизни, обнимаетъ въ себѣ въ равной мѣрѣ познаніе и дѣятельность. Впрочемъ, нельзя не замѣтить, въ различныхъ діалогахъ Платона есть основанія не только для различныхъ, но даже противоположныхъ мнѣній въ этомъ отношеніи. Въ республикѣ отъ философа требуется практическое участіе въ государственной жизни, но въ Теэтетѣ повидимому исключается; въ республикѣ Платонъ признаетъ относительную цѣ-

ну удовольствія, напротивъ въ Федонѣ отвергаетъ его. Авторъ означеннаго сочиненія указываетъ на существенное равенство убѣждений Платона во всѣхъ этихъ діалогахъ, но по крайней мѣрѣ нельзя не видѣть при этомъ различія въ настроеніи, которое очевидно измѣнялось въ различные времена жизни философа. Вообще признано, что въ философіи Платона ясно отпечатлѣлись слѣды его личнаго философскаго развитія; къ сожалѣнію до сихъ поръ оказываются тщетными усилія ученыхъ возстановить вполне исторію философскаго развитія личности Платона по недостатку данныхъ для этой цѣли. Вотъ почему и теперь еще послѣ многочисленныхъ трудовъ, посвященныхъ учеными изслѣдователями разъясненію философіи Платона, все еще остается возможность новыхъ взглядовъ и новыхъ розысканій при ея изученіи.

E. Hering: über das Gedächtniss als eine allgemeine Function der organisirten Materie (Vortrag, gehalten in der feierlichen Sitzung der K. K. Akademie d. Wissensch. am 30 Mai 1870) Wien, 1870.

Заглавіе этого сочиненія заставляетъ думать, что здѣсь предлагается матеріалистическое изъясненіе духовнаго отправления. Дѣйствительно память авторъ признаетъ дѣйствіемъ матеріальнымъ, но въ тоже время то, что онъ подразумеваетъ, говоря о памяти, совершенно отлично отъ того, что обыкновенно называютъ памятью. Подъ этимъ названіемъ авторъ подразумеваетъ не только сохраненіе и воспроизведеніе ощущеній, представленій и понятій, но и всѣ отправления, усвояемыя посредствомъ упражненія и навыка и легко воспроизводимыя, — какъ сознательныя, такъ и безсознательныя, духовныя и матеріальныя. Такъ, если мы, послѣ многократнаго повторенія, быстро исполняемъ какое либо движеніе, по поводу вѣшняго или внутренняго возбужденія, если при этомъ мы не употребляемъ никакого усилія и не сознаемъ ни одного изъ тѣхъ движеній, изъ которыхъ вы-

текает исполненное движеніе, то это, по мнѣнію автора, возможно потому, что наши мускулы сохраняютъ въ себѣ прежде исполненные нами движенія. Когда мы воспроизводимъ представленіе какого либо пространственнаго предмета, то это происходитъ, утверждаетъ авторъ, въ слѣдствіе того, что первая субстанція удержала въ себѣ тѣ отправленія, посредствомъ которыхъ происходитъ наблюденіе и въ слѣдъ за каждымъ соотвѣтствующимъ возбужденіемъ воспроизводитъ ихъ. Такимъ образомъ, по мнѣнію автора, всякая органическая матерія, будетъ ли то мускулъ, или первая жидкость, имѣетъ способность памяти. Этотъ свой взглядъ на органическую матерію онъ выводитъ изъ теоріи Дарвина. Извѣстно, что Дарвинъ причинами происхожденія и развитія формъ органической матеріи признаетъ приспособленіе къ условіямъ существованія и наследственную передачу. Послѣдній мотивъ авторъ примѣняетъ къ объясненію отправленій органической матеріи. Отправленія эти, по предположенію автора, оставляютъ послѣ себя матеріальныя перемѣны въ тѣхъ органахъ живого существа, помощью которыхъ онѣ исполняются и чѣмъ чаще и настойчивѣе совершаются эти отправленія, тѣмъ больше и продолжительнѣе ихъ слѣды. А такъ какъ зародышъ находится въ ближайшемъ отношеніи ко всемъ органамъ материнскаго организма, то и отправленія послѣдняго оставляютъ слѣды въ первомъ. Такимъ образомъ новорожденный организмъ исполняетъ многія отправленія, по большей части унаслѣдованныя имъ отъ матери, такъ что подобныя отправленія собственно суть только воспроизведенія. Поэтому возрѣнію, инстинктъ животныхъ объясняется наследственною передачею отправленій. Животное еще въ тѣлѣ матери привыкаетъ къ тѣмъ дѣятельностямъ, которыя оно исполняетъ потомъ въ жизни; узкія границы, въ которыя заключена дѣятельность животнаго, односторонность и простота жизни, а также высокая степень матеріальнаго развитія его при рожденіи— вотъ причины ловкости и опредѣленности дѣйствій, совершаемыхъ

животными; по этимъ причинамъ отправления его имѣютъ характеръ инстинктивности. Напротивъ, если въ человѣкѣ все инстинктивное достигаетъ далеко меньшей степени развитія, то это опять нужно объяснять тѣмъ обстоятельствомъ, что жизнь его предковъ слишкомъ разнообразна и потому отдѣльныя отправления матеріи не оставляютъ въ зародышѣ такихъ большихъ слѣдовъ; притомъ же физическое развитіе человѣка совершается очень долго послѣ его рожденія. И во все это время онъ испытываетъ постоянно новыя вліянія, существенно видоизмѣняющія его врожденные отправления. Отсюда объясняется также, почему у человѣка въ такой степени господствуетъ индивидуальность, тогда какъ животныя въ своихъ дѣйствіяхъ обнаруживаютъ преимущественно родовыя черты. Съ этой точки зрѣнія легко также понять то обстоятельство, что чисто духовныя отправления представляютъ значительно меньшую силу, чѣмъ тѣлесныя: послѣднія потому оставляютъ большіе послѣ себя слѣды въ органической матеріи, что они начинаютъ совершаться несравненно ранѣе, нежели первыя; духовныя отправления относятся къ позднѣйшей сравнительно порѣ развитія человѣка.

Должно согласиться, что такое расширеніе теоріи Дарвина дѣйствительно открываетъ новую точку зрѣнія для психологіи. Но вопросъ въ томъ, помогаетъ ли сколько нибудь объясненію дѣятельностей органической матеріи замѣна дарвиновскаго предположенія о приспособленіи теоріею памяти? Понятнѣе ли сколько нибудь память, какъ свойство органической матеріи, нежели приспособленіе? Выигрывается ли что нибудь такого рода истолкованіемъ дарвиновской теоріи о приспособленіи? Объясняется ли этимъ послѣднее? Опредѣляются ли чрезъ то законы приспособленія? А если объясненіе отправленій органической матеріи нисколько не достигается тѣмъ, что вмѣсто способности приравляться къ условіямъ жизни, которой въ извѣстной мѣрѣ безспорно нельзя отрицать, авторъ приписываетъ ей память, то уже никакъ нельзя

согласиться со взглядомъ его на память. Изъ предъидущаго видно, что авторъ понимаетъ память совершенно матеріалистически. Попытки къ объясненію душевныхъ явленій съ матеріалистической точки зрѣнія въ новое время нерѣдки. Но тогда какъ обыкновенно, при такомъ изъясненіи, признають эти явленія результатомъ скрытаго процесса въ нервной субстанціи, по мнѣнію автора, напротивъ, память есть первоначальное свойство органической матеріи.

Такое свое воззрѣніе онъ подкрѣпляетъ тѣмъ, что явленія сознанія и матеріальныя перемѣны организованной субстанціи рассматриваетъ какъ взаимныя функціи. Тѣ и другія дѣйствительно оказываютъ взаимное вліяніе и при томъ, думаетъ авторъ, должно предполагать, что это вліяніе происходитъ закономѣрно,—такая зависимость и есть функціи: «потому что если два измѣнчивыхъ (элемента) въ своихъ перемѣнахъ по опредѣленнымъ законамъ зависима другъ отъ друга, такъ что съ перемѣною одного происходитъ перемѣна другого и наоборотъ, то такого рода зависимую перемѣну, какъ извѣстно, называютъ функціею другого». По этому предположенію не только къ каждому матеріальному отправленію мозга долженъ присоединяться феноменъ сознанія, но и наоборотъ, при каждомъ явленіи сознанія—должна происходить чисто матеріальная перемѣна мозга. Но это—недоказанное предположеніе, которому авторъ самъ противорѣчитъ, когда говоритъ: «многочисленныя воспроизведенія органическихъ процессовъ нашего мозга упорядочиваются одно за другимъ совершенно закономѣрно, при чемъ одно разрѣшается, какъ возбужденіе другого, но не съ каждымъ членомъ такой цѣпи необходимо соединяется феноменъ сознанія». Для подтвержденія своей гипотезы относительно памяти, авторъ пользуется еще тѣмъ соображеніемъ, что важнѣйшее дѣло памяти есть не воспроизведеніе ощущеній и представленій, а сохраненіе ихъ, между тѣмъ послѣднее происходитъ въ безсознательномъ; сохраненіе есть отправле-

ніе не сознанія, а противнаго ему, а такъ какъ безсознательное и матерія тождественны, то память есть способность мозга, «явленія котораго хотя по большей части выпадаютъ въ сознаніе, но другою не менѣе существенною частію, какъ исключительно матеріальныя процессы, проходятъ безсознательно». Такимъ образомъ указанная выше непоследовательность автора была для него необходима, ибо если признать сказанное имъ о взаимной зависимости явленій сознанія и перемѣнъ, происходящихъ въ мозгѣ, то сейчасъ приведенный аргументъ въ пользу его теоріи невозможенъ. Не только впрочемъ сохраненіе чувственныхъ впечатлѣній есть, по теоріи автора, дѣйствіе безсознательнаго, т. е. матеріи, но даже большая часть воспроизводительнаго процесса должна принадлежать матеріи и при томъ только ей одной, безъ всякаго въ этомъ участія со стороны сознанія. Въ подтвержденіе этого положенія онъ указываетъ на то, что наблюденіе каждаго пространственнаго предмета есть результатъ въ высшей степени запутаннаго процесса, что именно отдаленность, величина, геометрическая форма каждаго предмета по видимому только посредствомъ заключенія познаются и что однако все это есть дѣло мгновенія и слѣдовательно безъ помощи логическаго процесса сознанія. Авторъ думаетъ, что прежде нежели достигли этой способности наблюденія, мы сознавали всѣ посредствующіе его средніе члены, такъ что само наблюденіе было заключеніемъ, извлеченнымъ изъ нихъ; но послѣ. мало по малу, вслѣдствіе навыка къ образованію такихъ среднихъ членовъ, они упорядочиваются, по поводу внѣшняго соотвѣтствующаго возбужденія, съ такою быстротою, что совершенно нами не сознаются, оставаясь матеріальными перемѣнами: только конечный членъ этого посредствующаго ряда, т. е. самое наблюденіе подпадаетъ сознанію. Это конечно вѣрно, что человѣкъ постепенно достигаетъ умѣнья наблюдать, но съ другой стороны также достоверно, что и тогда, какъ образуется наша способность къ наблюденію, не чрезъ заключе-

нія происходит самое наблюдение, а посредствомъ ассоціаціи въ моментъ наблюденія возбужденныхъ ощущеній съ пріобрѣтенными уже прежде. И какъ въ состояніи развившейся способности въ одно мгновеніе совершаются наблюденія, также быстро происходятъ они и во время самаго развитія той же способности; въ обоихъ случаяхъ наблюденія мгновенно представляются нашему сознанію, лишь только имѣется соотвѣтственное возбужденіе. Время, по видимому необходимое для того, чтобы соединить средніе члены, въ томъ и другомъ случаѣ, совершенно исчезаетъ для нашего сознанія. Поэтому автору слѣдовало бы съ своей точки зрѣнія и о происхожденіи нашихъ наблюденій въ первый періодъ утверждать тоже, что онъ предполагаетъ относительно процесса наблюденія въ періодъ позднѣйшій, что наблюденіе всегда есть только перешедшій въ сознаніе конечный членъ на передъ безсознательно происшедшей цѣпи матеріальныхъ перемѣнъ. Давно известное намъ, многократно сдѣланное наблюденіе, въ такомъ случаѣ для него не различалось бы по сущности своей отъ наблюденія, происшедшаго въ первый разъ, хотя при этомъ можно предположить, что средніе члены давняго наблюденія умножились и потому оно сдѣлалось полнѣе. Память, по теоріи автора, хотя по этому и признавалась бы способностію безсознательною, отсюда слѣдовало бы только, что она удерживаетъ не сознаваемая нами матеріальныя перемѣны и слѣдовательно вполне различалась бы отъ памяти психологической. Вообще, авторъ ложно опредѣляетъ сущность наблюденія и въ этомъ состоитъ основаніе упомянутой выше непоследовательности его. Ибо наблюденіе, какъ это ясно изъ сказаннаго, не есть результатъ ни заключенія, посредствуемаго многими, отдѣльными сознательными членами, ни безсознательно совершающагося процесса. Оно есть сознательная сумма или сложность всѣхъ этихъ среднихъ членовъ, состоящихъ изъ различныхъ сознательныхъ ассоціацій.

Для мнѣнія автора, что память есть способность органи-



ческой матеріи, главнымъ подспорьемъ служить то его положеніе, что все бессознательное матеріально, при чемъ онъ повидимому предполагаетъ, что только явленія сознанія суть отправленія души. Представленія, полагаетъ онъ, послѣ того какъ мы перестали сознать ихъ, не существуютъ какъ представленія; перешедши въ состояніе бессознательности, онѣ удерживаются только въ видѣ «настроенія нервной субстанции». Такой образъ представленія имѣлъ бы нѣкоторый видъ вѣроятности, если бы у насъ были только такія представленія и понятія, которыя произошли изъ чувственныхъ созерцаній. Но кромѣ такихъ понятій и представленій есть также понятія, образуемая свободною дѣятельностію мышленія: понятія этого рода также удерживаются нашею памятью, и не только отдѣльныя понятія, но и цѣлыя системы ихъ. Такія понятія, хотя также переходятъ изъ сознанія въ область не сознаваемого, не могутъ однако удерживаться нами, какъ настроеніе нервной субстанции, потому что онѣ произошли не подъ вліяніемъ матеріальныхъ перемѣнъ. Только то очевидно, что онѣ не остаются въ формѣ совершенныхъ понятій, а сохраняются, какъ настроенія души, которыя дѣлаются тѣмъ продолжительнѣе и устойчивѣе, чѣмъ чаще возобновляются въ сознаніи соотвѣтственными имъ понятія, совершенно также, какъ мускулы легче исполняетъ движеніе, если много разъ оно повторялось. Воспроизведеніе и удержаніе душевныхъ явленій дѣйствительно происходитъ, сходно съ усвоеніемъ и воспроизведеніемъ матеріальныхъ. Чувственные ощущенія и представленія подобнымъ же образомъ удерживаются не только какъ впечатлѣнія, остающіяся въ нервахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ настроенія душевныя. Какое либудь чувственное возбужденіе вызываетъ соотвѣтственное ощущеніе; непосредственно затѣмъ къ этому ощущенію присоединяются и всѣ другія духовныя явленія, крѣпко связанныя съ нимъ вслѣдствіе неоднократнаго повторенія такой ассоціаціи. При этомъ, соотвѣтственная цѣль всѣхъ матеріальныхъ перемѣнъ

не составляет необходимости; только въ то время, когда воспроизведенное наблюдение впервые образовалось, для происхожденія его были необходимы такія переѣны, впрочемъ, этимъ не исключается, что при возстановленіи наблюденія и эти переѣны также могутъ воспроизводиться. Поэтому нѣтъ достаточнаго основанія память изъ психической силы превращать въ матеріальную. Можно пожалуй удержаніе переѣвъ, происшедшихъ въ органической матеріи вслѣдствіе вышнихъ условій, также назвать памятью, но этимъ ничего не пріобрѣтается, кромѣ смѣшенія понятій. Память въ психической области есть тоже, что приспособленіе въ органической матеріи. Какъ послѣдняя посредствомъ приспособленія постепенно измѣняясь, развивается, такъ и въ душѣ развитіе способностей условливается памятью. Съ этой точки зрѣнія нельзя не признать вѣрности того замѣчанія автора, что памяти мы обязаны почти всѣмъ, что имѣемъ: только при содѣйствіи памяти мы образуемся и, если можно говорить о наслѣдственной передачѣ душъ, то единственно въ томъ смыслѣ, что посредствомъ памяти развивается вообще родъ человѣческій.

The descent of man, and selection in relation to sex,—by Charles Darwin. 2 vol. 1871.

На это сочиненіе Дарвина можно смогрѣть, какъ на восполненіе и завершеніе его прежняго пресловутаго сочиненія «о происхожденіи видовъ». Весьма вѣроятно, что для Дарвина уже въ этомъ «происхожденіи видовъ» заключалось и происхожденіе человѣка, какъ происхожденіе, ничѣмъ существенно не отличающееся отъ происхожденія всѣхъ вообще живыхъ существъ, или организмовъ нашей планеты,—но все таки заключалось здѣсь только имплиците, и вотъ Дарвинъ въ новомъ настоящемъ сочиненіи трактуетъ о таковомъ происхожденіи человѣка специально и уже совершенно эксплиците. Предположеніе это Дарвинъ утверждаетъ



на прежней своей, нерушимой, по его мнѣнію, теоріи, «нагуральнаго подбора», съ присовокупленіемъ впрочемъ къ этому еще и другого, именно «половаго подбора», какъ дополнительнаго принципа происхожденія видовъ; въ этомъ, дѣйствительно новомъ дополнительномъ принципѣ и заключается собственно, новостъ и характерная особенность настоящаго сочиненія.—

Человѣкъ явился въ мірѣ не по особому творческому акту, но, подобно всѣмъ животнымъ, путемъ естественнаго безконечно долгаго процесса превращенія изъ самыхъ низшихъ формъ жизни въ формы все высшія и высшія,—вотъ основное положеніе настоящаго сочиненія Дарвина.—Общее съ животными, эмбрионическое развитіе человѣка изъ сѣмени, ничѣмъ неотличающагося отъ сѣмени другихъ высшихъ животныхъ, одинаковая структура организма, одинаковыя фیزیологическія отправленія этого организма,—все это,—говоритъ Дарвинъ, заставляетъ считать и первоначальное происхожденіе человѣка ничѣмъ не отличнымъ и одновременнымъ съ происхожденіемъ животныхъ. Утверждать противное, значить, и нашу собственную структуру и структуру окружающихъ насъ животныхъ считать не болѣе, какъ хитрою ловушкою, кѣмъ-то нарочито поставленною для того, чтобы сбивать съ толку наше познаніе,—хотя, конечно, не мало еще времени пройдетъ до того, когда будетъ считаться страннымъ явленіемъ всякій натуралистъ, который бы, вопреки сравнительной анатоміи человѣка и другихъ живыхъ существъ, утверждалъ, что происхожденіе каждаго особеннаго вида этихъ существъ, для объясненія своего требуетъ непременно особеннаго творческаго акта.

Въ громадномъ генеалогическомъ деревѣ человѣческаго рода слѣдуетъ, по указанію Дарвина, различать слѣдующіе главные моменты. Послѣ рожденія изъ обыкновенныхъ органическихъ зародышей, наши предки имѣли структуру и нравы акватическихъ животныхъ, поелику морфологія заставляетъ въ нашихъ легкихъ видѣть не что иное, какъ преобразованные плавательные пузыри,

которые нѣкогда главнымъ образомъ служили цѣли плаванія, а впадины на хребтѣ человѣческаго зародыша показываютъ, гдѣ нѣкогда были плавательныя крылья. Сердце въ то время было простымъ пульсивнымъ сосудомъ, а становая жила заступала мѣсто позвоночнаго столба и вообще организація человѣка была также проста и несовершенна, какъ у самыхъ низкихъ безпозвоночныхъ животныхъ. Затѣмъ, предки наши стали животными позвоночными, которыя первоначально были гермофродитами, какъ и вообще на низшихъ ступеняхъ позвоночнаго организма встрѣчается въ одномъ и томъ же индивидуумѣ соединеніе органовъ противоположныхъ половъ; несомнѣнно также, что въ это время зародышъ былъ двойной. Мало по малу затѣмъ наши предки стали болѣе совершенными позвоночными животными: они были покрыты вездѣ шерстью, оба пола имѣли бороду; уши у нихъ были височія или стоячія и неспособныя къ движенію, — они имѣли и хвосты съ особенною системою мышечною, отъ коихъ осталась у насъ только такъ называемая хвостцевая кость. Организація и права четверорукихъ — высшая форма жизни нашихъ предковъ, представляетъ послѣднее звено, связывающее ихъ съ нами двурукими или двуногими. Это превращеніе четверорукаго въ двурукое и двуногое не представляетъ для изъясненія никакой трудности: нѣсколько столѣтій исключительнаго употребленія одной пары рукъ для ходьбы, а другой — для различныхъ дѣйствій, — и такое превращеніе готово. Большее затрудненіе чувствовалъ Дарвинъ при объясненіи факта нашей безволосой кожи, которая покрыта шерстью даже у самыхъ ближайшихъ предковъ человѣчества четверорукихъ, но тутъ ему помогаетъ *половой подборъ*, который и вообще служитъ для него движущимъ принципомъ всего генеалогическаго процесса. Принципъ этотъ состоитъ вотъ въ чемъ. Легко представить, что индивиды во всякомъ видѣ животныхъ не всѣ были одинаковы, но нѣкоторые отличались или особенною силою, или красотою, вообще разными преимуществами предъ

другими. Эти преимущества и эти отличія должны были играть весьма важную роль и въ половыхъ отношеніяхъ,—именно, благодаря имъ, благодаря, то есть, тому обстоятельству, что совершенное соединялось преимущественно съ подобнымъ себѣ совершеннымъ, должны были образовываться постепенно болѣе тѣсныя видовыя группы животныхъ съ извѣстными совершенствами и отличіями, которыя за тѣмъ, естественно, становились наследственными. Такъ можно представлять весь процессъ развитія и видоизмѣненія животной жизни, отъ самой низшей ея формы до человѣческой, какъ самой высокой. Чтоже касается въ частности нашей человѣческой безволосой кожи, то и она легко изъясняется изъ этого принципа. Именно мы знаемъ, что у нѣкоторыхъ обезьянъ лица совсѣмъ почти голыя; но легко представить, что не только для насъ, но и для обезьянъ голое лицо было далеко не безразличною вещью въ эстетическомъ отношеніи, но казалось признакомъ особаго совершенства. Коль скоро же допустить это, то уже нѣтъ никакой трудности представить, что безволосыя фizioноміи играли важную роль въ половыхъ отношеніяхъ, и что за тѣмъ образовался цѣлый особенный видъ животныхъ, въ которомъ это отличіе не только стало наследственнымъ достояніемъ, но и постепенно все болѣе и болѣе усовершеншалось отъ обнаженія одного только лица у обезьяны до обнаженія всей кожи у насъ—людей. Наши уже получеловѣческіе предки, по мысли Дарвина, первоначально имѣли кожу только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обнаженную, и то только женскій полъ, какъ и вообще въ животномъ мірѣ самка всегда не такъ густо покрыта шерстью какъ самецъ, но потомъ, какъ въ себѣ самихъ женщины постепенно все болѣе и болѣе усовершеншали этотъ родъ красоты, такъ передавали ее и своему молодому потомству, уже безъ различія половъ. Такъ вотъ какова наша родня!... «Всѣ полагаютъ, такъ заключаетъ Дарвинъ свою генеалогію человѣческаго рода, всѣ думаютъ, что міръ долго былъ приготовляемъ къ появленію человѣка, но

вѣдь и мы тоже самое утверждаемъ, когда полагаемъ, что появленіе человѣка обязано длинной линіи прародителей. Если бы хотъ одного какого либо звена не было въ этой длинной цѣпи, человѣкъ никогда не сталъ бы тѣмъ, чѣмъ онъ есть теперь. Но, если мы намѣренны не станемъ закрывать наши глаза, то при помощи данныхъ настоящей науки, можемъ по крайней мѣрѣ приблизительно знать, кто наша родня, и этой родни, какъ кажется, намъ рѣшительно нечего стыдиться».

Однакожъ, что касается прежде всего научной силы этой генеалогіи и всей вообще теоріи «полового подбора», то даже самъ Дарвинъ, какъ кажется, не слишкомъ увѣренъ въ ней. «Должно сознаться, говорятъ онъ, что всѣ мои воззрѣнія относительно полового подбора, какъ одного изъ началъ естественной исторіи человѣка, требуютъ большей научной точности, чѣмъ какая дана имъ на основаніи данныхъ нынѣшняго естествознанія, и тотъ, кто не признаетъ за этимъ началомъ усвояемаго ему значенія въ низшихъ классахъ живогныхъ, конечно, тѣмъ болѣе уже не согласится со всѣмъ тѣмъ, что написано мною въ послѣднихъ главахъ о человѣкѣ». Если же самъ авторъ теоріи произносить надъ нею такой судъ, то что уже должно сказать о ней постороннее, непредубѣжденное научное сознаніе? Полагаемъ, что не долго придется ждать, когда и эта новая теорія Дарвина будетъ съ такою же научною основательностію опровергнута, какъ и прежняя его теорія «естественнаго подбора». Но, если теорія эта слаба даже для объясненія физиологическаго развитія человѣка, то для объясненія психологическаго развитія человѣка, для объясненія вообще человѣческаго духа, со всѣми его специфическими силами и способностями, оказывается уже рѣшительно несостоятельною предъ научнымъ сознаніемъ и возмутительною предъ нравственнымъ. Что бы ослабить возникающее отсюда громадное возраженіе противъ своей матеріалистической теоріи, Дарвинъ прибѣгъ къ обыкновенной въ подобномъ случаѣ уловкѣ матеріа-

листовъ, — посвятилъ нѣсколько главъ апологіи животнаго міра, — доказательству, что животныя по своимъ способностямъ не многимъ уступаютъ человѣку, и человѣкъ не можетъ превосходить ихъ, что животныя въ сущности почти тѣже люди, равно и наоборотъ, что люди въ сущности тѣже животныя. Такъ, прежде всего, что касается познавательныхъ способностей, то, говоритъ Дарвинъ, несомнѣнно, что онѣ тѣже и у животныхъ, что у человѣка и наоборотъ: что высшія чувства, а съ ними и чувственные воспріятія и воззрѣнія тѣже и у животныхъ, что у человѣка, объ этомъ уже и говорить нечего; но животныя обладаютъ и высшими способностями, — всѣ животныя способны чувствовать пріятность возбужденія чѣмъ либо новымъ интереснымъ, и страдать отъ скуки и однообразія, они способны удивляться всему необыкновенному, и многія изъ нихъ показываютъ удивительное любопытство; подражаніе, основа человѣческаго воспитанія, встрѣчается вездѣ и въ животномъ царствѣ; внимательное наблюденіе, основа интеллектуальнаго прогресса, встрѣчается также и у животныхъ, примѣръ такой внимательности представляетъ кошка, подстерегающая у дыры мышь, собака, ищущая дичь или потерянную вещь и т. под.; и животныя, особенно же напримѣръ собаки и обезьяны, обладаютъ памятью мѣстъ и лицъ; кошки, собаки, лошади и всѣ вообще высшія животныя видятъ перѣдко очень живые сны, слѣдовательно обладаютъ живымъ воображеніемъ; но они несомнѣнно обладаютъ также и самою высшею способностію, извѣстною подъ именемъ разума. И такъ, заключаетъ Дарвинъ, умственные способности животныхъ несомнѣнно тѣже, что и у человѣка. Что онѣ *тѣже по виду*, съ этими, конечно, можно согласиться, но что онѣ *таковы же* по самой сущности, это опровергается неопровержимымъ опытомъ огромной разности между дѣйствительными результатами тѣхъ и другихъ человѣческихъ и животныхъ умственныхъ способностей. Если въ самомъ дѣлѣ эти способности у животныхъ такія же, какъ и у человѣка, то по-

чему же эти способности и не производят того, что онѣ производятъ въ человѣчествѣ, не производятъ ни того, что называется наукою въ смыслѣ теоретическаго знанія, ни того, что называется наукою въ смыслѣ практическаго примѣненія этихъ знаній къ расширенію удобствъ жизни? Почему знанія животныхъ никогда не выступаютъ изъ предѣловъ ихъ физическихъ потребностей, почему онѣ не развиваются, не умножаются, а вѣчно стоятъ, и по объему и по достоинству, все на одной и той же ступени? Авторъ разсматриваемой теоріи, повидимому, имѣлъ въ виду и эти роковые для нея вопросы, потому что старался найти примѣры умноженія знаній, вообще развитія и усовершенствованія и въ животномъ мірѣ; но и эти примѣры ничего не доказываютъ въ пользу умственныхъ способностей животныхъ, поелику взяты большею частію изъ міра животныхъ прирученныхъ, слѣдовательно оттуда, гдѣ развитіе и усовершенствованіе принадлежитъ собственно человѣку, дрессирующему и облагораживающему животныхъ, но вовсе не самимъ животнымъ. Для Дарвина, однакожъ, ничего не значить это обстоятельство, какъ ничего не значить и еще болѣе важное обстоятельство, именно фактъ человѣческой членораздѣльной рѣчи—этого специфическаго отличія человѣка,—и хотя онъ всѣ усилія свои напрягаетъ къ тому, чтобъ доказать что «способность членораздѣльной рѣчи не можетъ служить серьезнымъ возраженіемъ противъ вѣры въ происхожденіе человѣка изъ нижечеловѣческихъ формъ жизни», по это ему рѣшительно не удается.

Еще болѣе рѣшительнымъ специфическимъ отличіемъ челоѣка считалась его нравственная способность, то есть способность къ жизнедѣтельности подѣ идеей добра, по нравственной нормѣ. Дарвинъ, однако, и тутъ не видитъ никакого затрудненія поставить животныхъ въ одинъ уровень съ челоѣкомъ; «весьма вѣроятно, говоритъ онъ, что и всякое животное, надѣленное достаточными соціальными инстинктами, не избѣжно будетъ обладать

и нравственнымъ чувствомъ и нравственной нормой, коль скоро его интеллектуальныя способности достигнуть въ своемъ развитіи до уровня человѣческихъ способностей, или по крайней мѣрѣ приблизятся къ этому уровню». Совершенно справедливо; поелику въ упрощенномъ видѣ, положеніемъ этимъ утверждается ни болѣе ни менѣе, какъ только то, что животное могло бы быть нравственнымъ существомъ, если бы оно, вмѣсто животнаго было человѣкомъ; поелику же этого нѣтъ, поелику на самомъ дѣлѣ животныя не одарены человѣческими способностями, то онѣ не имѣютъ и нравственности, не имѣютъ при томъ всѣ одинаково, безъ различія большаго или меньшаго физическаго совершенства. Весьма любопытно наблюдать, какъ такой, повидимому серьезный натуралистъ, какъ Дарвинъ, прибѣгаетъ къ чисто-ребяческимъ уверткамъ, лишь бы не сознаться въ несостоятельности своихъ гипотезъ. «Я самъ видѣлъ, говоритъ онъ на примѣръ, собаку, которая проходя мимо своего давняго друга—больной кошки, каждый разъ лизала ее, вѣрный признакъ искренняго участія къ несчастію ближняго». Быть можетъ, и въ самомъ дѣлѣ возможна дружба между кошкой и собакой, только изъ этого все таки не слѣдуетъ ничего къ нравственности ни кошекъ и собакъ, ни вообще животныхъ, именно потому, что у животныхъ вовсе нѣтъ того, что по сознанию самаго Дарвина, составляетъ необходимое условіе нравственности.—Въ концѣ концовъ, для Дарвина и самая религія теряетъ значеніе специфическаго отличія человѣка; привязанность собаки къ господину, говоритъ онъ, есть тоже своего рода обожаніе (!). А это уже—шутка, не только ребячески нелѣпая, но и вдобавокъ кощунственная, свидѣтельствующая ни болѣе ни менѣе, какъ о рѣшительномъ ослѣпленіи автора своею предзанятою мыслию, потому что иначе и не можетъ быть объяснена такая нелѣпость, какъ сравненіе религіи съ чувствами собачьей дружбы.



Primitive culture: reserches into the development of mythologie, philosophy, religion, art and custom, by Edward Tyldr. 2 vol. 1871.

Тайлоръ давно уже занимается первобытною исторіею человѣчества, и настоящее его сочиненіе «о первоначальной культурѣ, или о развитіи мифологіи, философіи, религіи, искусства и нравовъ» представляетъ собою только пополненіе, исправленіе и приведеніе въ систему того, что изложено имъ въ прежнихъ сочиненіяхъ «изслѣдованіе о культурѣ» и «изслѣдованіе о первобытной исторіи человѣчества.

Послѣ понятія науки о человѣческой культурѣ и краткой исторіи этой науки, авторъ, естественно, прежде всего задается вопросомъ объ исходномъ, первоначальномъ пунктѣ культурной жизни человѣчества. Какъ извѣстно, есть два противоположныя воззрѣнія на этотъ предметъ,—одно, полагающее, что человѣчество начало свое развитіе изъ дикаго состоянія, а другое утверждающее, что дикое состояніе вовсе не есть нормальное начало человѣческой жизни, а напротивъ есть извращеніе первоначальнаго лучшаго состоянія. Последнее мнѣніе раздѣлялъ, между другими, и Нибуръ, который доказывалъ его тѣмъ, что исторія не представляетъ ни одного факта образованія культурнаго народа непосредственно изъ дикой орды. Тайлоръ рѣшительно стоитъ за первое воззрѣніе и доказательство это опровергаетъ прямо противоположнымъ ему положеніемъ, что исторія также не знаетъ ни одного факта одичанія народа, бывшаго прежде цивилизованнымъ; правда, говоритъ онъ, народъ можетъ иногда, при неблагоприятныхъ обстоятельствахъ, лишиться своей прежней культуры, ослабѣть нравственно и совершенно разстаться съ своими прежними идеалами, но это далеко не похоже еще на дикое состояніе; случается, что и въ цивилизованныхъ странахъ цѣлые классы народа, обѣднѣваютъ и затѣмъ огрубѣваютъ, портятся и умственно и нравственно, но это совсѣмъ не то еще, что сдѣлаться дикими.

Кромѣ того, разсуждаетъ Тайлоръ, если изъясненіе культуры изъ первоначально дикаго состоянія представляетъ своего рода трудности, то уже рѣшительно нельзя понять, какъ добытая долгими усиленіями культура можетъ вдругъ исчезнуть безслѣдно, или превратиться въ прямую свою противоположность—въ дикое состояніе. Кромѣ этого отрицательнаго доказательства, Тайлоръ представляетъ слѣдующіе положительныя доводы въ пользу своего воззрѣнія. Во 1-хъ доисторическая археологія представляетъ несомнѣныя данныя въ пользу доисторическаго, такъ называемаго «каменнаго вѣка», то есть, времени некультурнаго, дикаго состоянія. Во 2-хъ и это дикое состояніе совсѣмъ не таково, какимъ обыкновенно его рисуютъ, не таково, чтобы въ немъ нельзя было полагать начало культурнаго процесса, но вмѣстѣ съ другими имѣетъ и многія добрыя стороны, обладаетъ и положительными задатками культурной жизни. По этому поводу Тайлоръ входитъ въ ближайшее разсмотрѣніе нравовъ дикихъ и, не отрицая въ нихъ дурнаго, находитъ и много такого, что можетъ служить даже примѣромъ для ложно-цивилизованныхъ народовъ. Такъ, отношеніе половъ у дикихъ гораздо нравственнѣе, чѣмъ у магометанъ; рабство у нихъ гораздо споспѣе, чѣмъ какимъ оно было даже въ послѣднее время въ европейскихъ колоніяхъ; вѣротерпимость ихъ не имѣетъ никакого сравненія съ поведеніемъ средневѣковаго католичества и т. под. И наконецъ въ 3-хъ есть и живыя свидѣтельства о первоначально-дикомъ состояніи, это остатки различныхъ понятій этого состоянія, и доселѣ сохраняющихся въ простопародіи, въ болѣе или менѣе преобразованномъ видѣ. Въ этой главѣ Тайлоръ входитъ въ подробное разсмотрѣніе различныхъ суевѣрій и предрассудковъ простаго народа, стараясь доказать, что въ большей части случаевъ они представляютъ собою буквальное повтореніе воззрѣній дикихъ.

Переходя къ частнымъ формамъ или элементамъ человѣческой культуры, Тайлоръ останавливается прежде всего на языкѣ

и искусствѣ считать. Что касается языка, то Тайлоръ раздѣляетъ теорію такъ называемаго натурального или бессознательнаго произвольнаго происхожденія, и полагаетъ, что начало свое языкъ получилъ еще въ дикомъ состояніи. Счетное же искусство, по мнѣнію Тайлора, обязано происхожденіемъ своимъ свободной рефлексіи, хотя несомнѣнно, что оно, по крайней мѣрѣ въ зародышѣ, было и въ дикомъ состояніи, и позднѣйшею цивилизаціею только развито и усовершенствовано. Тѣмъ болѣе отсюда ведетъ свое начало міеологія. Высказавши общее положеніе относительно міеологіи, что и она, вмѣстѣ съ другими формами культуры, возникаетъ и развивается по опредѣленнымъ законамъ, Тайлоръ собираетъ множество міеовъ, принадлежащихъ, по его мнѣнію, дикимъ народамъ, и сравнивая ихъ съ позднѣйшими міеами культурныхъ народовъ, видитъ въ послѣднихъ отчасти усовершенствованіе, а отчасти искаженіе первыхъ. Первобытная форма міеа, по мнѣнію Тайлора, есть натуръ-міеъ, всегда относящійся къ предметамъ, явленіямъ и силамъ природы, и потому самому темный, лишенный опредѣленныхъ очертаній личности; это преимущественная форма міеологіи дикихъ. Героическій періодъ народа, всегда производящій рѣшительный переломъ всей его жизни и мысли, измѣняетъ и его міеологію, именно наполняетъ и ее такою же кипучею личною жизнію, предметы и явленія природы облачаетъ въ антропоморфическую форму и дѣлаетъ ихъ личными божествами, принимающими живое и дѣятельное участіе во всѣхъ сторонахъ человѣческой жизни; это послѣдній фазисъ міеологіи дикихъ и исходный пунктъ міеологіи культурныхъ народовъ.—Въ вопросѣ о религіи Тайлоръ прежде всего останавливается на «анимизмѣ» т. е. вѣрѣ въ духовъ; онъ собираетъ множество ходячихъ исторій у дикихъ народовъ относительно привидѣній, сновидѣній, двойниковъ, водныхъ, лѣсныхъ духовъ и проч., и дѣлаетъ изъ нихъ общій выводъ, что «вѣра въ существованіе души, какъ особой независимой отъ тѣла субстанціи,

есть существенный элементъ всякой религіи, есть звено, связывающее дикаго фетишиста съ цивилизованнымъ христіаниномъ». Послѣ обзора различныхъ формъ посмертнаго существованія душъ, Тайлоръ показываетъ различныя приложенія вѣры въ духовъ въ праксиcѣ культа, то есть различныя формы почитанія духовъ, — почитанія душъ умершихъ предковъ, пенатовъ и вообще идоловъ, животныхъ, растений и т. под., и затѣмъ переходитъ къ разсмотрѣнію религіозныхъ обрядовъ и церемоній. Что касается исторіи различныхъ обрядовъ и вообще религій, то Тайлоръ самъ говоритъ, что занимался разсмотрѣніемъ ихъ болѣе съ этнографической, чѣмъ съ богословской точки зрѣнія, считая для себя главнымъ не ихъ относительное достоинство и значеніе, но законы и ступени ихъ развитія, но при этомъ дѣлаетъ намекъ, что его изслѣдованія могутъ послужить весьма важнымъ матеріаломъ и для богословской науки. Разсуждая по аналогіи съ естествовѣденіемъ, онъ полагаетъ, что не далеко то время, «когда для ученаго богослова не знать низшихъ формъ религіи, какъ зачатковъ формъ ея высшихъ, будетъ также непростительно, какъ нынѣ для естествоиспытателя непростительно пренебрегать изученіемъ простѣйшей безпозвоночной формы животныхъ, непростительно потому, что въ этой формѣ лежатъ въ завиткѣ и ея изъясняются формы высшія». Это — отчасти правда.
